

Девушка в синем

(отрывок из повести)

- I -

Поздним зимним вечером, когда губернский город, затерянный в уральских предгорьях, уже готовился ко сну, погружаясь в нескончаемую сладкую дрему, и над притихшими, съезжившимися от холода, домишками повсюду неподвижными часовыми висели столбы бело-розового печного дыма, к двухэтажному особняку на Бекетовской подкатил рессорный тарантас, запряженный парой лошадей. Мохнатые кони стали, сопя и отдуваясь, испуская клубы пара и разбивая в пыль тяжелым копытом залежалый снег. Возница, укутанный до носа в теплую шерстяную шаль, надетую поверх долгополого ямщицкого тулупа, спрыгнул с облучка и дернул на себя со скрипом заиндевелую дверь. По всему было видно, что экипаж шел издалека, может быть, даже из самой столицы.

.- Пожалуйста, Петр Иванович, приехали. Извольте выйти.

Молодой господин в шубе до пят и развесистой шапке-ушанке вышел из тарантаса, спрыгнул на родную землю после долгого отсутствия на ней шести с половиной лет.

- Ну, здравствуй, Уфа, - прокричал он весело, - забытый Богом город! Эх, снежок уфимский, здравствуй!

И, слепив комок снега, юноша метнул его в возницу. Старый человек, уставший с дороги, не стал уворачиваться и получил несильный удар снежком в грудь. Снег, разлетевшись, засыпал белыми хлопьями лицо.

- Петр Иванович, полноте шутить! – взмолился возница, отряхиваясь. - Пожалуйста в дом. Лошадей остудим.

И застучал, затарабанил железной ключиной по дубовой калитке.

- Иван Александрович, Прасковья Игнатьевна, встречайте наследника! Петя приехали! Иван Александрович! Прасковья Игнатьевна!

Особняк загудел, ожил, наполняясь до краев радостной и беспокойной жизнью, за высокими прямоугольными окнами вспыхнул свет, послышался шум, топот, разговоры, наконец, входная дверь распахнулась, и на крыльцо шагнул пожилой господин в тапочках, стеганом домашнем халате и ночном колпаке. Это был Иван Александрович Мокшанский, купец второй гильдии, чьи съестные и мануфактурные лавки на Верхне-Торговой площади хорошо были известны торгующему уфимскому люду. Он взгляделся в ночную темноту, увидел очертания знакомого тарантаса, рядом с ним фигуру сына и, взмахнув руками, мощно прокричал, разрезая окрестности раскатистогромовым голосом:

- Петр приехал! Сыночек родненький! Прасковья Игнатьевна, Петруша приехал!

Услышав родной голос, молодой господин, позабыв о приличиях и столичных манерах, бросился к крыльцу, размазывая по щекам слезы.
- Батюшка! Матушка! Я вернулся!

Буквально через пять минут все уже сидели в освещенной гостиной за большим столом, ломившимся от разнообразной снеди, которая обильной рекой текла из кладовок. Холодное мясо, грибочки, моченые яблоки, квашеная капуста, огурцы, студень из свиных ножек. Надобно было видеть, с какой нескрываемой любовью смотрели на Петра родители, поседевшая от долгой разлуки милая матушка и пышущий здоровьем, еще крепкий и боевой отец.

- Молодец, Петруша, молодец, что до поста приехал, - гремел на всю гостиную Иван Александрович. - Еще пара деньков и мы бы с тобой так не посидели. Видишь, какой стол? Все свое, родное. Погоди, сейчас поросенка принесут, картошечки печеной, карасиков в сметане. Эй, шевелись там! – крикнул он зычным голосом и добавил, - ну, что, может, еще по одной? Петруша! Наливочка тоже своя, вишневая, урожай в этом году превзошел все ожидания. Да ты помнишь нашу вишню, чего тебе говорить! Вся Уфа в вишневых садах, как невеста в нарядах.

- Все, батюшка, хватит, - отмахивался Петя, - я больше не съем, пожалей бедного студента! И пить я больше не могу. Голова кружится. Мне бы отдохнуть с дороги.

- И то, - поддакнула с надеждой Прасковья Игнатьевна, - пожалей его, отец. Лошадям даешь отдохнуть, а об сыне не думаешь. Пусть отлежится с дороги, поспит. Вишь, качает его.

- Не скули, Прасковья, - оборвал жену Иван Александрович. – Во-первых, не бедный, я платил за тебя жалованье, да и на прокорм давал не жалеючи, двенадцать рублей в месяц, солидная сумма. А во-вторых, не студент, а действительный художник. Все же Московское училище живописи окончил. Звучит! Кто, говоришь, был твоим преподавателем?

При этих словах Петя вздрогнул, чувствуя приближение развязки, которую он старательно откладывал.

- Поначалу Исаак Ильич, - как можно спокойнее ответил он, обтирая лоб платком, - первые полгода. Левитан фамилия, может, слышали о таком?

- Нет, не слыхивал. А что?

- Умница, каких поискать, необыкновенно талантливый человек. Добрейшая, несчастная душа.

- А почему несчастная?

- А помер четыре года назад. От внезапно открывшейся болезни сердца. Помер, точно сгорел. Я и попрощаться не успел.

- Да, жалко человека, - сочувственно отозвался Иван Александрович. – Хороший, видать, был человек.

- После него Васнецов был, Аполлинарий Михайлович, тоже замечательный художник, руководил у нас классом пейзажной живописи. Батюшка, ну, можно, я пойду? Устал с дороги, - Петя с надеждой взглянул на отца.

- Погоди, сынок! – решительно загорелся Иван Александрович, вставая. - Как тебе повезло! Не зря отдал я тебя в Москву, человеком стал, мир повидал! А теперь показывай свидетельство, диплом по-вашему. Хочется взглянуть, кем ты стал, какие пути перед тобой отныне раскроются. Бумага, она любую дверь отопрет.

- Батюшка! – воскликнул Петя. Ну, все настал решающий час. Господи, пронеси!

- Чего ты? - Иван Александрович с удивлением поглядел на сына.

- Ничего. Вот диплом, читайте, - Петя протянул отцу бумагу с гербом Российской империи.

- Ну-ка, ну-ка, интересно. Сей документ удостоверяет, - начал читать Иван Александрович, - что Мокшанский Петр Иванович, будучи студентом Московского государственного училища живописи, ваяния и зодчества, окончил полные шесть курсов научных и художественных дисциплин, в связи с чем присваивается ему звание учителя рисования с разрешением преподавания в средних учебных заведениях, а также гимназиях и прогимназиях. Ничего не понимаю. Как учитель рисования? Почему учитель рисования? Петруша, объясни.

- Понимаете, батюшка, - с дрожью в голосе начал Петя, - звание художника по окончании училища присваивается не всем. А только лучшим.

- А ты что, не лучший? – строго спросил Иван Александрович. – Почему не лучший?

- Отец, да ты чего пристал к ребенку, - заступилась за сына Прасковья Игнатьевна, - вишь, голос дрожит, переживает, поди. Давай, отложим разговор на завтра. Вот выспится, в баньке помоеется, тогда и спрашивай.

- Не скули, Прасковья, - грозно оборвал ее отец. – Ну, Петр Иванович, ответствуй, почему у тебя бумага такая, почему ты не лучший?

- На курсе нас было одиннадцать, - продолжил объяснение Петя, - то есть девять, двоих отчислили за неуспевание, остается девять, а звания дают только по присуждению медали. Серебряной либо золотой.

- А ты почему без медали?

- Не знаю. Видимо, работа моя не приглянулась комиссии. Потому и не получила медаль. Не знаю. Я работал, старался. Батюшка, но ведь это совсем не плохо! Я могу преподавать в гимназии, учить детей рисованию. На кусок хлеба хватит.

- Выходит, без медали, - Иван Александрович, мрачней, заходил по гостиной.

– Выходит, зря я платил за обучение, зря содержал тебя, все зря, впустую.

Учитель рисования! Да на кой ляд Мокшанским учитель рисования!

Художник, только художник, и не меньше! А то вон Василий Нестеров, тоже купец, а ходит гоголем, сын его Мишка в художники выбился. А чем Мокшанские хуже? Ничем не хуже. Зря, что ли я состояние трудом своим сколачивал и в купцы второй гильдии произведен? Да чтобы сына обучить и в люди вывести!

- Батюшка, - уверял Петя батюшку, краснея и волнуясь, - если вы этого хотите, я стану художником, ей-Богу, стану. Я ведь и вернулся в Уфу только

ради того, чтобы картины писать, а как напишу, так и опять поеду в Москву, на экзамен. Я упорный, не отступлюсь.

- Правильно, сынок, все правильно, - как-то опустошенно и без прежнего напора ответил Иван Александрович, - не отступайся. Выпью, пожалуй, я белого, - он подошел к столу и взялся за графин с водкой.

- Тебе хватит, отец. И так перебрал, - покачала головой Прасковья Игнатьевна. - Спать иди. Утро вечера мудренее.

- Цыц, старуха, не скули. Без тебя тошно, - Иван Александрович, крякнув, опрокинул стопку водки.

- Чего тошно? Чего тебе тошно? Сын приехал, радоваться надо, а ему тошно. Эх, Иван Александрович, отец родной, - протянула Прасковья Игнатьевна. - Пойду я, поздно уже, - она встала, придерживаясь правой рукой за стол, и пошла, переваливаясь, к двери. - Спокойной ночи, Петруша. Всем спокойной ночи.

- Спокойной ночи, матушка, - ответил Петя и обратился к отцу. - Батюшка, вы не верите мне?

- Почему не верю? Верю, сынок, - Иван Александрович подошел к сыну, обнял. - Как себе верю. А вот обидно. Ничего не могу с собой поделывать, не могу обиду прогнать. Думал, художника встречаю, а получилось, всего-навсего учителя рисования.

- Я непременно стану художником, - еще раз уверил батюшку Петя.

- Иди спать, сынок. Мать права, утро вечера мудренее. Иди спать, - Иван Александрович благословил сына, очертил правой рукой в воздухе крест и крепко поцеловал его.

- Петруша, я провожу тебя, - Прасковья Игнатьевна все это время стояла в дверях и слушала с волнением, чем закончится разговор. - Я постелила наверху, как в детстве, помнишь? Дай руку, мне тяжело идти. Сорок восьмой уж пошел, немолодая.

- Вы у меня матушка всегда молоды и не наговаривайте на себя.

Петя подал руку матушке руку, Прасковья Игнатьевна оперлась на нее и они пошли вместе к лестнице, ведущей на второй этаж, в спальню, где все уже было готово ко сну. Шестнадцать ступенек поворот налево, пять шагов по коридору и вот она, его комната. Эти ступеньки и шаги Петя помнил с детства.

- Ну, все, Петруша, кровать застелена, вот рукомойник, отец побеспокоился, велел наверх занести, чтобы тебе было удобнее, полотенце, зубной порошок, щетка, чистое белье. Кажись, все, - Прасковья Игнатьевна вздохнула, - ты на отца-то не обижайся, он у нас хоть и строгий, но справедливый.

- Что вы, матушка, как можно!

- Ну, все, с Богом, - Прасковья Игнатьевна вслед за отцом тоже благословила сына крестным знамением, поцеловала и пошла вниз, охая. - Спи, сынок. Спи. Приехал, наконец. Господи, радость-то какая! Радость-то какая! Господи спаси!

Случилось это в одна тысяча девятьсот пятом году, в феврале, двадцать пятого дня в ночь перед субботой и за два дня перед наступлением Великого

поста.

Умывшись и переодевшись во все свежее, Петя долго лежал в постели и не мог заснуть. Наконец-то он дома, в родной Уфе. Какое счастье! Как долго он ждал этого момента, торопился, считал дни и все, он дома, никуда не нужно спешить, а можно валяться в постели, сколько хочется. И ничего не изменилось, все на прежних местах, только вот матушка постарела. А батюшка все такой же боевой, спуску не дает. На нем все держится. И, слава Богу, все обошлось. Батюшка не рассердился. Теперь все пойдет на лад, дома, говорят, и стены помогают...

Мысли закружились пестрым хороводом, все глуше и тише, глуше и медленнее и Петя отлетел ко сну, как в детстве, незаметно и легко, позабыв обо всем на свете.

Проснулся Петя от музыкальных звуков, будто где-то играл рояль. Петя привстал в постели, прислушался. Будто вальс Шопена. Точно Шопен, до-диез минор. Неужто в их доме играют? Да кто же? Кто бы это мог быть? И откуда в доме рояль?

Петя быстро оделся, плеснул в лицо водой, обтерся и спустился вниз. В гостиной хлопотала матушка. Увидев сына, она улыбнулась доброй, застенчивой улыбкой, излучающей свет и тепло, как только могут улыбаться матери своим детям.

- Проснулся, Петруша? Доброе тебе утро.

- Доброе утро, матушка. А кто это играет?

- Сонечка, Софья Овчинникова, твоя двоюродная сестра, дочь сестры моей Ефросиньи.

- А откуда она у нас?

- Живет. Уже третий год пошел. Ты выспался-то как? – спросила ласково Прасковья Игнатьевна. – Одиннадцатый час уже. Мы не стали тебя будить, позавтракали без тебя. Отец пошел лавки посмотреть, а я вот осталась, тебя ожидаючи. Проголодался? Я тут тебе кашу сварила, овсяную на молоке. Будешь есть?

- Подожди, матушка, - перебил ее Петя, - а почему вчера я Соню не видел?

- Отец не велел показывать. Сначала, говорит, я сыном налюбуюсь, а уж потом Соня. Пусть смотрит, сколько захочет. Так и сказал.

Вдруг музыка умолкла, двери открылись, и в гостиную вошла девушка в синем платье. Вошла легко и невесомо, будто вплыла, наполнив пространство гостиной невыразимым обаянием, воздухом и свободой – удивленно, широко поставленные глаза, вздернутый носик, чуть припухлые губы, бледные щеки, волосы цвета льна, спадающие на трогательно худые плечики, и в довершение ко всему узкая, как у балерины, талия.

- Здравствуйте, Петр Иванович, - сказала создание.

- Здравствуйте, - ответил Петя и обомлел, замер, не зная, что ему сказать.

- Вы не помните меня? Я – Соня, Софья Овчинникова, ваша кузина. То есть двоюродная сестра. Простите, я разбудила вас.

- Да ничего не разбудила, - вмешалась Прасковья Игнатьевна. – Петру давно надо бы встать. Если не вчерашняя дорога, я бы разбудила его вместе с отцом. Ты же знаешь, как у нас в доме заведено – встают все вместе, за одним столом завтракают, а уж потом каждый по своему делу идет. И не переживай попусту. Завтракайте, Петруша, каша и чай на столе. Что еще? Да, молоко в кринке, хлеб в тарелке. Все, пошла я.

Да, прав отец, подумала Прасковья Игнатьевна, выходя из гостиной и притворяя за собой двери, что-то после этой встречи должно произойти. Эх, молодость, молодость! Куда ни кинь взгляд, всюду счастье и только.

- Куда вы, Прасковья Игнатьевна, вы нам не мешаете, - пробовала удержать ее Соня, но напрасно. – Вот, ушла. Замечательная у вас матушка, Петр Иванович, добрая. И я тоже пойду, мне к урокам готовиться надо. Я не помешаю вам своим музицированием?

- Пойдите, Соня, - остановил ее Петя, - подождите. Неужели вы та самая гимназисточка, с которой я вальсировал на выпускном вечере? Маленькая, невзрачная, худая...

- Да, та самая, - ответила Соня, несколько не смутившись бестактным ответом юноши.

- Как вы изменились! – прошептал Петя.

- Что с вами, Петр Иванович? – спросила удивленно Соня. - Завтракайте. Матушка велела вам завтракать. Увидимся за обедом, - и она вышла, прошелестев синим платьем.

Петя долго и задумчиво ел, ковыряя ложкой овсяную кашу, выпил машинально стакан молока. Вот тебе и гимназисточка...

- Молодой человек, а я вас знаю.

- Откуда?

- Вы – Петр Иванович Мокшанский, сын купца Мокшанского.

- Ну, да. А ты откуда знаешь?

- Пригласите меня на танец, Петр Иванович. Никогда еще я не танцевала на балу. Ну, пожалуйста!

- Как ты оказалась здесь, малявка, кто тебя пропустил?

- Я не малявка, я - Соня.

- И чего тебе надо, Соня?

- Пригласите меня на танец, пожалуйста.

- И чего это ради я должен тебя приглашать? Ты же ниже меня в два раза, малявка.

- Не малявка, а Соня. И не в два, а в полтора. Ну, пожалуйста, Петр Иванович.

- Не называй меня Петр Иванычем, я этого не терплю.

- Ладно, не буду, Петр Иванович.

- Ты что, издеваешься надо мной?

- Я не нарочно, у меня вырвалось.

- Ладно, пошли. Но только один-единственный раз, последний.

- Ой, спасибо вам, Петр Иванович, спасибо...
- Не смей называть меня Петром Иванычем, слышишь?
- Все, все, не буду...

- Ну, и как каша? Понравилась? – в гостиную опять заглянула Прасковья Игнатьевна.

- Что? – переспросил недоуменно Петя, не освободившись еще от плена нахлынувших воспоминаний.

- Каша, говорю, понравилась? Что с тобой, Петруша? – спросила Прасковья Игнатьевна. – Ты не заболел часом?

- Нет, матушка, не проснулся еще, - ответил Петя. – Спасибо, все очень вкусно. Я пойду, пройду, места знакомые огляжу. Спасибо, матушка.

- К двум часам приходи, обедать будем, - напомнила Прасковья Игнатьевна. – Смотри, не опоздай, отец этого не любит.

Петя поцеловал матушку и вышел в прихожую. Обмотал шею вязаным платком, надел шубу, сунул ноги в валенки, натянул ушанку и выскочил на улицу.

Эх, и красота в Уфе зимой! Пусть морозы стоят по неделям, сугробы по пояс, зато солнца хоть отбавляй, а воздух!? И что за воздух в Уфе - свежий, ядреный, душистый! Нет, не променять никогда Уфу ни на один из столичных городов! И дело тут не только в красоте, а в чем-то другом, чего не объяснить и не понять приезжему. Петр Мокшанский шел по Бекетовской и с восторгом вглядывался по сторонам. Какие красивые и крепкие дома! Основательно поставлены, и у каждого дома свое лицо, наличники по-разному украшены, вязь железная по краям крыш, и за каждым домом сад, беседка для разговоров. Правильно батюшка говорил – вся Уфа в садах, как невеста в нарядах! А вот и Успенская с ее бесконечными лавками, книжный магазин Блохина, Гостиный двор, часовенка, ах, как же она красива! А вот и отцовские лавки, издали видать. Зайти к батюшке или не заходить? Пожалуй, не зайду, а прогуляюсь, сколько душе угодно. Ноги сами несли его к заветному месту – Случевской горе, хотя он этого не осознавал и не понимал. Всех уфимцев во все времена тянуло к этому заколдованному месту. И вроде нет ничего особенного, а тянет, словно магнитом, и сопротивляться этой силе нет никакой возможности.

Почти вслепую промчался Петя по Уфе и очнулся лишь только тогда, когда увидел себя в деревянной беседке у речного обрыва. Кудрявые ели в снегу, худые белоствольные березки и величаявая река, скованная льдом как панцирем, молчит, словно что-то скрывает, таинственное и суровое. Так и душа Петра – таит в себе что-то, а что – о том речи нет. Петя чувствовал, что в нем что-то происходит, но что, понять не мог, да и не хотел, не старался особенно понять. Ему в этот час было так хорошо, невыразимо хорошо и привольно. Эх, красота уфимская! Век бы на тебя любовался!

- Ну и где Петруша? – спросил Иван Александрович. – Где наш учитель?

Прасковья Игнатъевна, где твой сын? Куда ты его подевала?

- Не знаю, отец, - ответила Прасковья Игнатъевна, - предупредить я его предупредила. Пошел прогуляться. Разливать щи-то?

- Нет, погоди, - сурово ответил Иван Александрович. – Наказать бы его по всей строгости. Да нельзя, второй день только дома. Отвык, поди.

В этот момент часы пробили два пополудни, и в прихожую влетел Петя.

- Простите, батюшка, за опоздание, я сейчас, - доложил он из прихожей, - только руки вымою.

- Ну вот, успел, - улыбнулась Прасковья Игнатъевна, - а ты, отец, сердчать уж начал. Нет, Петр весь в тебя, обязательный.

- Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, - сердито оборвал ее Иван Александрович. – Чего ждешь, разливай щи.

Ели молча, Прасковья Игнатъевна следила за отцом, пытаясь угадать его настроение и не попасть под горячую руку, Петя смотрел на матушку и нет-нет, да и поглядывал на Соню, которая глядела только в свою тарелку, хотя чувствовала, что Петр Иванович на нее смотрит.

- Ну, что замолкли, как на похоронах? – спросил Иван Александрович и рассмеялся. – Не сержусь я боле. Давай, сын, по маленькой, за обедом в масляную субботу не грешно, - он взял графин с водкой, всегда выставляемый хозяйкой к обеду, и налил две неполные стопки.

– Ну, Петруша, за тебя!

Отец и сын выпили, и Иван Александрович спросил:

- Ну, что как Уфа? Понравилась? Или ты уже только к столицам привык?

- Да, батюшка, понравилась. Я Уфу люблю, - ответил Петя, обрадовавшись вниманию отца. – А что до Москвы, город красивый, царский. Церквей золоченых не счесть, повсюду не дома, а дворцы, дороги широкие и бесконечно длинные. Только Уфа мне ближе.

- Правильные речи ведешь, сынок, - одобрил Иван Александрович. – А заниматься чем думаешь? На жизнь чем думаешь заработать?

- Церкви хочу расписывать, - сказал уверенно Петя. – Завтра же пойду спрошу, может, кому и снадоблюсь. Хоть Уфа и не Москва, а церковью и тут хватает.

- А если бумагу попросят? Что делать станешь? – спросил Иван Александрович.

- А у меня на этот случай этюды припасены, - ответил с улыбкой Петя.

- Чего? – переспросил Иван Александрович. – Какие такие студы?

- Да не студы, а этюды. Это такие предварительные картины, с которых потом настоящие картины пишут, - объяснил Петя. – Да вы не вникайте, батюшка, я сам разберусь.

- Разберется он, - проворчал Иван Александрович. – Ладно, делай, как знаешь. Если потребуется помощь, помогу.

- Спасибо, батюшка, - с благодарностью сказал Петя.

- Прасковья Игнатъевна, давай, что ли поросенка, - попросил Иван Александрович, - того, что вчера не доели.

Обед продолжился, но уже более свободно и непринужденно. Изменившуюся атмосферу почувствовала, и Соня и решила, наконец, посмотреть в сторону Петра, взглянула и тут же опустила взгляд. Ей на мгновение почудилось, что веселое и энергичное настроение Петра Ивановича как-то связано с ней, с их утренней встречей и у нее закружилась голова.

- Петруша, - сказал явно подобревший Иван Александрович, - к пяти банька подоспеет, не забыл, как парятся?

- Не забыл, - ответил Петя. - Мы в Москве тоже мыться ходили.

- Мыться – это одно, а париться совсем другое. Со мной пойдешь или с Сонькой? – и Иван Александрович громко загоготал.

Петр и Соня покраснели, а Прасковья Игнатьевна сердито вымолвила:

- Ну, тебя, отец, к лешему. И что сказал, сам не понимаешь.

- Да пошутил я, пошутил, - пробовал оправдаться Иван Александрович, но оправдания его не приняли.

- Плохие шутки у вас, батюшка, - сказал Петя и вышел из-за стола.

- Ну, вот и обиделся, - сказал Иван Александрович, – слова сказать нельзя.

Прости меня, Соня, не со зла я. Пойду, посплю перед банькой. Спасибо, Прасковья Игнатьевна, за обед, за угощение. О-ох, грехи мои тяжкие!

Нет, батюшка не боевой, а боевитее всех будет, думал с обидой Петя, поднимаясь по лестнице вверх в свою комнату. Это надо ж такое придумать! Меня и Соню в одной бане упрятать! Нет, это не батя, это черт какой-то с копытами. А, может, он умышленно меня с ней связал, может, у него замысел на это есть? Да не бывать этому никогда! Вконец раздраженный, он вошел в комнату и, не включая света, не снимая одежды, повалился, как был, на застеленную матушкой кровать. Не пойду в баню, пусть меня стреляют, не пойду. И спасительная дрема смежила его глаза.

Проснулся Петя от стука в дверь.

- Кто там? – спросил он недовольно и привстал на постели.

- Это я, Соня, - прошелестел тонкий голосок. – Петр Иванович, можно мне войти?

- Входи, не заперто.

Дверь открылась, впуская на минуту свет, и опять все стало темно.

- А почему у вас темно? Вы, что спите? – спросила Соня.

И чего пришла? Никого не хочу видеть.

- Что и соснуть нельзя? – ответил Петя.

- Нет, почему же, можно. Только грех вам, Петр Иванович, обижаться на своего батюшку.

Петя вскочил и зажег свет.

- А ему дозволено надо мной смеяться? – крикнул он и увидел, как сжалась от от крика и резкого света хрупкая Соня.

- Петр Иванович, вы давеча сказывали, - Соня побледнела, но уйти не осмелилась, - что у вас этюды есть, то есть картины предварительные. А можно мне их посмотреть?

- Смотри, только зачем тебе это, - Петя подошел к походному деревянному

чемодану, отщелкнул замок и высыпал на пол рисовальные листы. – Смотри, - и снова лег на постель, повернувшись к стене и повторяя про себя, никого не хочу видеть, никого.

Соня склонилась над листами, неспешно перебирая их и разглядывая.

- И как у вас это получается? Я бы так не смогла. И рисунок верный, и краски соответствующие и вместе так душу увлекает. А дома, дома какие!

Каменные, трехэтажные, вот бы в них жить! А церкви - просто загляденье! С любовью написаны. И почему, не понимаю, вам медаль не дали? Вы, Петр Иванович, очень талантливый человек.

- Много ты понимаешь, - отозвался Петя, глядя в стену.

- Понимаю, - вздохнула Соня. – В нашей гимназии есть класс искусств, по стенам картины развешены, репродукции – Тициан, Пуссен, Айвазовский. Так что понимаю. И потом нас музыке учат. А вам понравилось, как я играю? Петя почувствовал странное облегчение, словно на душу пролился ласковый и теплый дождь, смывая начисто обиду и злость на батюшку. И чего такого Соня сказала? Вошла, и все переменилось. Нет, при ней совершенно невозможно сердиться.

- Понравилось, - ответил Петя и повернулся к девушке, с любопытством ее разглядывая. – А я сразу отгадал, что это Шопен. До-диез минор. Правильно?

- Верно, - смущаясь пристального взгляда, ответила Соня, – Шопен. Так вы не сердитесь на батюшку?

- Прошло, - ответил Петя.

- А на меня? – спросила Соня.

- А на тебя-то за что?

- За то, что пришла, разбудила вас.

- Странная ты, - Петя встал и прошелся по комнате. – Слушай, а чего ты меня на вы и Петр Ивановичем зовешь?

- Так вы же старше меня, - ответила Соня. – А старших всегда по имени-отчеству называют.

- А почему ты не в синем платье? – неожиданно для самого себя спросил Петя.

- Не знаю, - покраснела Соня. - Решила вот сарафан надеть. А что, сарафан мне не к лицу?

- К лицу, к лицу. Но, понимаешь, Соня, - сказал Петя, - как бы тебе это сказать? Я когда вас, то есть, тебя увидел, ты была в синем платье, и я подумал, вот бы с кого портрет написать. Не знаю, что у меня выйдет, получится или нет, и художник я пока что никудышный, но попробовать надо, обязательно надо. Но для этого тебе придется мне позировать. Знаешь, что это такое?

- Нет, не знаю, - простодушно ответила Соня.

- Ну, это когда, - загорелся Петя, его вдруг обожгла новая идея. Начисто позабыв о том, что говорил только что батюшке, что хочет церкви расписывать, Петя ударился в новую мысль. – К примеру, ты сядешь сюда, против двери, - при этих словах он взял девушку за руку подвел к двери и усадил на подставленный стул, - а я стану против окна, буду смотреть на тебя

и переносить рисунок на холст, - тут он отошел к окну и взмахнул правой рукой, показывая всем своим видом, будто пишет картину.

- А долго придется сидеть? – спросила Соня. – У меня ведь гимназия, к урокам готовиться надо.

- Нет, не долго. Для начала, скажем, по два часа в день.

- Это много, - вздохнула Соня.

- Ну, тогда по часу в день. Согласна?

- Уступаю, - ответила Соня, – чего не сделаешь ради искусства. Но начнем не раньше понедельника, первого дня поста. А сегодня и завтра я повторю музыкальные уроки. Ну, я пошла. Только вот листы соберу.

Она встала со стула, присела на корточки и стала собирать рисовальные листы, складывая их в чемодан. В эту минуту дверь открылась и в комнату заглянула матушка Прасковья Игнатьевна.

- Можно войти, Петруша? – и, увидев, что сын не один, остановилась на пороге.

- Можно, матушка, проходите, - пригласил Петя.

- Спасибо. Не помешаю? – спросила, обращаясь к Соне. Соня вспыхнула, подняла последние листы, закрыла чемодан и поспешно встала, не поднимая взгляда.

- Мне надо идти. Простите, матушка, - сказала и тенью выскользнула из комнаты, оставив Прасковью Игнатьевну и Петра вдвоем.

- Прости, Петруша, но мне нужно сказать тебе, - тут Прасковья Игнатьевна осеклась, глядя на сына, - прости, что помешала.

- Ну, что вы матушка! Нисколько даже вы мне не помешали, - с досадой ответил Петя. Ушла Соня и опять обида в душе зашевелилась, будь она неладна.

- Я хотела сказать тебе, что завтра прощенное воскресенье, все прощают друг другу обиды, - начала Прасковья Игнатьевна. – И что тебе надобно простить отца. Не со зла он, а по недоумию сказал. Пошутить надумал, а что вышло, сам знаешь.

- А я не обижаюсь на батюшку, - ответил Петя.

- Простил, что ли, сынок? – с надеждой спросила Прасковья Игнатьевна.

- Простил, матушка.

- Ох, сыночек, Петруша, - Прасковья Игнатьевна прильнула к сыну, едва не плача. – Что мне с вами делать, упрямыми? Вся порода Мокшанских такая, ни один с пути не свернет. С одной стороны-то хорошо, а вот с другой? Это еще как посмотреть. Ну, ладно, пойду, успокоил ты меня, Петруша, спасибо тебе. А в баню-то пойдешь?

- Пойду, но один. С батюшкой не пойду. А то вдруг раздумаю прощать?

- Да ты что? – испугалась Прасковья Игнатьевна. – Этого никак нельзя делать.

- Не пугайтесь, матушка, - ответил Петя, обнимая матушку. – Отцу передайте, что париться желаю в одиночестве. Парильня не буфет, там мыться надобно, а не разговоры разговаривать.

- Передам, передам, сынок, - заторопилась Прасковья Игнатьевна. – Ладно, отдыхай, Петруша, а я пойду. Пожалуй, тоже сосну часочек. Отдыхай.

На следующий день, утром, когда зимнее солнце еще не пробилось сквозь клубящуюся толщу морозного марева и в доме все спали, пользуясь растянувшейся утренней тишиной, в комнату к Петру ввалился Иван Александрович с подносом в руках, на котором стояли графин с водкой и тарелка с холодной закуской, и закричал:

- Петруша, вставай! Я пришел! Челомкаться будем. Сегодня прощенное воскресенье. Вставай! Весь день проспичь.

Петя спал, завернувшись в одеяло по подбородок. После бани всегда спится легко, тело дышит глубоко, всей кожей, сердце бьется ровно и душа словно невесомая. И Петя никак не хотел просыпаться. А только натянул поглубже на себя одеяло, избавляясь от постороннего шума.

- Петруша! – закричал Иван Александрович, гремя подносом и ставя его на стул. – Ну, Петр! Вставай, сынок! Одному мне несподручно пить, - голос батюшки от приказного перешел к просительному.

- Здравствуй, батюшка, - Петя открыл глаза и сел на кровати. – Чего так рано?

- Прости меня, Христа ради! – вскричал Иван Александрович, падая на колени. – Прости, сынок! Не со зла я, а по скудоумию своему. Пошутил неудачно. Прости!

- Вы, что, батюшка, что с вами? – удивился Петя. - Да встаньте же, неловко мне на вас сверху смотреть.

- Не встану, покуда не простишь. Не встану, - заупрямился Иван Александрович.

- Да простил. Вчера еще простил. Вставайте, - Петя подошел к отцу и поднял его за плечи, поставил в полный рост.

- Спасибо, сынок, - отирая глаза, сказал расчувствовавшийся Иван Александрович. – Давай, что ли, поцелуемся. Я знал, что ты добрый и меня простишь. А теперь выпьем. Для чего и пришел. За примирение, - и он разлил водку по стопкам и подал одну стопку сыну.

- Батюшка, - как можно мягче сказал Петя, отстраняя стопку и одеваясь. Неловко перед батюшкой стоять в нательном белье. – Простите и вы меня, но пить с утра я не стану.

- Как хочешь, сынок. Прощаю тебя. А я выпью. Сегодня можно, сегодня прощенное воскресенье, последний день перед великим постом. А завтра – ни-ни. И потом – ни-ни. Все семь недель – ни-ни.

И Иван Александрович опрокинул стопку, сначала свою, а ней и сыновнюю. Только выпил, как в комнату вошла Прасковья Игнатьевна. Вошла и поклонилась низким поклоном.

- Простите меня, Петр Иванович, за грехи мои, за мысли неудобные. За все прости.

Почувствовав, что от него ждут ответного поклона, Петя склонился перед матушкой.

- Простите и вы меня, матушка, за непослушание, за то, что беды вам

причиняю по причине своего недомыслия, за все простите.

- Прощаю тебя, сынок. А этот что здесь делает? – кивнула недовольно Прасковья Игнатьевна в сторону отца. – Нализался с утра, ирод. Спрячу я этот графин, ей-Богу, спрячу!

- Матушка Прасковья Игнатьевна, ну, что вы сердчаете? Сегодня прощенное воскресение, сегодня можно. Простите меня, матушка! – и Иван Александрович повалился перед женой на колени.

- Не прощу! – загремела Прасковья Игнатьевна. - Третий день, как употребляешь. Пора бы и остановиться, отец родной.

- Прости меня, Христа ради! – в шутку заплакал Иван Александрович. – Сегодня прощенный день, полагается всех прощать. Неужто я хуже других?

- Не хуже! Но и не лучше! – отрезала Прасковья Игнатьевна.

- Тогда прости! Чего тебе стоит! Ну, прости, милая! – просил с колен Иван Александрович, но жена была непреклонна. Действительно, состояние Ивана Александровича было интересным. Невооруженным глазом было видно, что выпил он изрядно.

Воспользовавшись создавшейся заминкой, Петя оделся окончательно и юркнул между родителями, крикнув им на прощание:

- Батюшка, матушка! Я вас всех люблю! До свидания!

И поспешно скрылся за дверью.

- Ну, что простишь? Прощай быстрее, а то стоять неловко, ноги затекли, - взмолился Иван Александрович.

- Ладно, вставай уж, - смилостивилась нехотя Прасковья Игнатьевна. - Но чтобы завтра – ни в одном глазу. Понял, отец родной?

- Да понял, понял. Слава Богу, есть на свете правда, есть Бог, - Иван Александрович поднялся, отряхиваясь. – Пойду лавки посмотреть. Дома мне делать больше нечего. Не любят меня здесь.

- Как же тебя такого любить-то? - Прасковья Игнатьевна обмерила мужа презрительным взглядом.- И куда ты такой пойдешь? Кому ты нужен?

- Э, не говори, Прасковья, не говори. Знаешь поговорку? Пьян да умен – два угодя в нем. Слыхала? – хитро улыбнулся Иван Александрович.

- Не слышала и слышать не хочу. Иди да смотри, своим ходом возвращайся, - Прасковья Игнатьевна открыла дверь, собираясь выйти. – Пока мы с тобой тут калякали, Петруша, наверное, ушел голодным. Эх, отец родной!

И ушла. А Иван Александрович опрокинул еще стопку водки, закусил холодцом, икнул и сказал про себя - сегодня можно, сегодня прощенный день, а вот завтра - ни-ни. Ни хмельного, ни скромного, ничего себе не позволю, даю на то купеческое слово. И сдержал слово. Наутро был трезв как стеклышко и все семь недель пасхального поста вел подобающий образ жизни, ни хмельного, ни скромного. На то и был Мокшанский Иван Александрович купец второй гильдии, уважаемый в городе человек.

Петя тем временем спустился в гостиную и сел завтракать. Пьет чай и на дверь поглядывает, хорошо бы сейчас Соня появилась, пока родители

наверху. Он бы ее гулять пригласил. А то при матушке неудобно, неловко как-то. Он выпил одну чашку, взялся за другую. А вдруг Соня еще спит, тогда что? Как медленно бежит время! Наконец, дверь отворилась и в гостиную вошла Соня в синем платье. Вошла, увидела Петра за столом и застыла в нерешительности. Если бы она знала, подумал в восторге Петя, как ей идет этот синий цвет, как она красива. Непременно напишу ее портрет.

- Доброе утро, Петр Иванович! Можно мне с вами?

- Доброе утро, Соня! – Петя встал, предлагая Соне стул. - Проходи, садись. Чай, сметана, блины - угощайся.

- Спасибо, - сказала Соня и села на предложенный стул.

Петя налил Соне чаю, подвинул чашку.

- Вот чай. Хочешь с молоком?

- Хочу.

Соня пила чай, не спеша, маленькими, короткими глотками, словно стеснялась завтракать в присутствии юноши. Петр же лихорадочно размышлял, как ему быть, как предложить Соне пойти с ним погулять. И не решался. Наконец, услышав, как стукнула сверху дверь, значит, сюда идет матушка и медлить более нельзя, Петя наклонился к Соне и зашептал:

- Соня, а давай убежим из дома?

- Как убежим? На весь день? А уроки?

- Мы ненадолго, часа на два. А там видно будет. У меня деньги есть, от Москвы остались, припрятанные.

- А родителям что скажем?

- Скажем правду. Ну, что согласна?

Соня не успела ответить, как в гостиную спустилась Прасковья Игнатьевна.

- Это кто у меня тут шепчется? Петруша с Соней? Доброе утро, молодые люди.

- Доброе утро, матушка, - ответила Соня и посмотрела вопросительно на Петра.

- Завтракаете? – продолжила расспросы Прасковья Игнатьевна. – Правильно. Нельзя идти на улицу, не подкрепившись. На улице мороз, оденьтесь потеплее.

- Спасибо, матушка, - радостно крикнул Петя, - дорогой вы мой человек! Соня! Я жду тебя во дворе. Выходи!

- Соня! – обратилась к племяннице Прасковья Игнатьевна, как только Петр вышел в прихожую, - я хочу тебя попросить. Можно?

- Спрашивайте, матушка Прасковья Игнатьевна, - ответила Соня и отставила недопитую чашку с чаем в сторону.

- Вот какое дело, Сонечка, - Прасковья Игнатьевна полезла в карман домашнего платья, достала из него свернутую вдвое бумагу и протянула Соне, - хочу попросить, чтобы вы свечи за здоровье поставили, в бумаге имена указаны. И за Ивана поставьте, прости его, Господи, и за Петра, за всех поименно. Также и за упокой родителей твоих, за Ефросинью с Павлом тоже свечи поставьте. Короче, за всех. Денег вам я дам, - Прасковья Игнатьевна

снова полезла в карман и вынула целковый, - этого хватит, заранее припасен, еще и останется вам с Петрушей на леденцы. Пусть Петр деньги московские не тратит, они ему еще пригодятся. Ну, как исполнишь просьбу мою?

- Непременно, матушка Прасковья Игнатьевна, - Соня встала, - пойду я, а то Петр Иванович заждались.

- Что ж ты чай-то недопила, - спохватилась Прасковья Игнатьевна, - и блинов не поела. Что ж вы блины-то не брали? - она свернула бумажный кулек, положила в него два больших блина и подала Соне. - Вот, возьми на дорожку. Помешала я тебе своей просьбой, уж прости. Но отступить нельзя, дело нужное, и надобно сегодня именно его исполнить.

- Нет, не помешали, что вы, - ответила Соня. - Спасибо, матушка Прасковья Игнатьевна. За хлеб-соль, за то, что приютили, за память вашу о моих несчастных родителях. Спаси Вас Бог! - и заплакала, не удержалась, вспомнив своих матушку и батюшку.

- Ну, что ты, что ты, - стала успокаивать ее Прасковья Игнатьевна, - все будет хорошо, Петя славный, в обиду тебя не даст. Да и мы поможем, не чужие, чай. И все будет хорошо. А как же иначе? Иначе и быть не может. Только так и будет. А сейчас беги, доченька, Петр, наверное, промерз, тебя ожидаючи.

- Да, да, иду, - Соня отерла слезы и выбежала в прихожую.

Ох, и многолюдна, пестра и шумлива бывает Уфа в иные праздничные дни! Точно гудящий, растревоженный улей. Пеший, конный и санный люд усеял все дорожки, улицы и площади города, нигде нет пустого места, всюду веселящийся народ. Кто пьет, кто скоморошничает, а кто и буйствует и на кулачках уже пошел примериваться, вызывая недовольство городских. Правду говорят, на Руси пити - веселию быти. Правду, да не всю, ибо пили и пьют везде и, пожалуй, не меньше нашего, только народ наш как ребенок, невинен и чист, оттого и бросается в веселье безудержно, как в пропасть. Не будем строги к нему, мы ведь тоже часть этого народа, и к нам можно с полной мерою применить то же правило.

Петя и Соня вышли на Бекетовскую, с трудом отыскивая для себя проход, повсюду шел, толкаясь, празднично одетый, ряженный народ, и пошли в направлении Успенской, с тайной радостью поглядывая друг на друга.

- Ну, и что тебе матушка обо мне поведала? - спросил Петя. - Она мастерица у меня байки рассказывать.

- Свечи велела поставить, - Соня протянула Петру бумагу и деньги, - вот рубль, а в бумаге имена прописаны. Заботливая у вас матушка, кабы не она, быть бы мне сейчас на улице, как вот эти ребяташки, - рядом с молодыми людьми с шумом пробежала ватага совсем не по-праздничному одетых ребят. По всей видимости, приютских, каковых в Уфе в тогдашнее время было достаточно. Праздник, он для всех праздник, пусть не для всех одинаково сытый, но все равно развлечение.

- Раз велела, исполним, - Петя взял бумагу, деньги и спросил. - А с какого времени ты живешь у нас?

- Третий год уж пошел. Как дом наш сгорел, так и живу, - сказала Соня.
- Как сгорел? – Петя остановился, обескураженный и пораженный ответом Сони. – Ты мне ничего не говорила.
- А чего рассказывать, Петр Иванович, невеселое это воспоминание, - вздохнула Соня. – Давайте отойдем в сторону, а то мы людям мешаем. В позапрошлом году, под Рождество случился пожар в нашем доме. Мы с батюшкой на ярмарку ездили, в Оренбург, матушка была одна. Бросилась спасать нажитое имущество, сил своих не рассчитала, да от огня и погибла. Так обгорела, так что и спасти не смогли.
- А отчего пожар-то произошел? – спросил Петя.
- А почему я знаю? И никто теперь не знает. Когда мы с батюшкой вернулись, все уже было кончено. От дома одни головешки остались. А матушку Ефросинью в лазарет повезли. Так что живую мы ее не застали. Да ты наш дом должен помнить, он на Калмацкой стоял. Помнишь?
- Прости, Соня, не помню. Ну, как же так, как же вы дом свой не уберегли? – воскликнул Петя. – Вот тебе и праздник, повеселились. Как же дальше жить? Уж лучше с сумой по миру, чем без дома жить.
- Да не убивайтесь вы так, Петр Иванович, все уже позади, - с тихой улыбкой сказала Соня. – Я все забыла, и сердце мое уже высохло. А дальше что случилось, хотите узнать?
- Да, да, пожалуйста, - попросил Петя.
- Дальше батюшка мой Павел Андреевич Овчинников одичал совсем, не снес потери матушки, потому что любил очень и на второй день под лошадь бросился. Вот с того времени и живу у вас, приютила меня Прасковья Игнатьевна, матушка ваша, дай Бог ей здоровья. И кормит, и поит, и содержит. Ну, пойдем что ли? Замерзла я стоять на одном месте. Петр Иванович, вы слышите меня?
- Пойдем, - машинально повторил Петя, взял Соню под руку и они продолжили путь.
- Дойдя до Успенской улицы, они повернули налево. Гуляющего народу здесь было еще больше. Мельтешенье было так велико, что Петя невольно поддался настроению праздника и разгорячился. К тому же надо было как-то отвлечь Соню от грустных мыслей, да и самому, признаться, было как-то не по себе. Что было, то было, прошлого не вернуть. А, может, и к лучшему все произошло. Если бы не пожар, то и не увидел бы Соню. А тут лотошники, лавочники, шум, песни, веселье без границ, одним русским словом - гулянье. Что ж горевать?!
- А что, Софья Павловна, не желаете ли вы пирожка откусать? – спросил, отвешивая шутовской поклон, Петя. – С картошечкой, капусткой или, может, с требухой?
- Сыта я, Петр Иванович, - ответила Соня. – Пойдемте лучше к торговым рядам, там часовенка, свечи поставим, как матушка ваша велела.
- А сбитню не желаете ли? – не отставал Петя. – Сладенького!
- Сбитню? Сладенького? – повторила Соня. – Пожалуй, что выпью кружечку. С блинами, что ваша матушка дала.

Петя побежал, купил две кружки сладкого, на меду и с пряностями, тягучего напитка, одну подал Соне, другую взял себе и, стукнувши свою кружку с Сониной, прокричал:

- С праздником тебя, Соня, с прощеным днем! Простишь ли ты меня?
- Да за что прощать? Ничего плохого вы мне не сделали.
- А, может, сделаю? Кто знает? Может, я зверь какой? Или чудовище? – скорчил гримасу Петя, желая развеселить Соню.
- Петр Иванович, да полно вам паясничать, - рассмеялась Соня, - хотите блинчик? С маслицем, матушка ваша передала. Берите.
- А давай и блин, - Петя ухватил ртом протянутый Сонею блин, потянул на себя, отрывая большую его часть, рыча при этом, как медведь на привязи.
- Ну, Петр Иванович, - укоризненно сказала Соня, - ну, что вы делаете! Как дитя, право!
- А я и есть дитя. Малое, неразумное. Которое хочет гулять и веселиться. Побежали!
- А блин-то, блин недоеден!
- Да брось его, птички склюют. Ну, что медлишь, бежим!

И молодые люди побежали, со смехом помчались по широкой улице. Морозное солнце, наконец-то пробившееся сквозь плотный слой суровых облаков, ударило по снежному покрову города, расчищая воздух, и все вокруг вспыхнуло, загорелось, наполняя пространство радостным и необыкновенно ярким светом. Уфа преобразилась, зарделась стыдливым румянцем и от этого стала еще краше. И дома, и улицы, и взбудораженный народ, и извозчицьи дрожки, летящие со скоростью ветра - все слилось в едином, восторженном порыве.

- Смотри, Соня, смотри!
- Чего смотреть-то? Куда смотреть?
- Да там, на площади перед рядами чучело соломенное! Иль не видишь?
- Где? Где?
- Бежим, покажу.

На площади перед торговыми рядами шла неспешная подготовка к главному событию дня – сожжению чучела Масляницы. Громадная трехметровая кукла из соломы, лапника и пакли, с головой, руками и широченным цветным подолом, изображавшая загулявшую русскую бабу, была почти готова, кругом чучела лежали вязанки прутьев и сучьев, прыгали шуты, ряженые девки и парни, готовые по первой указке тут же запалить костер. Но до сожжения было далеко – по привычке костер поджигали вечером, когда сгустившаяся темнота укроет площадь и стоящих на ней людей и тогда обычно раздавались крики с требованием поджечь надоевшее бесполезное чучело. Крики усиливаются, раздаются все чаще, становятся неистовой и, наконец, под общий шум и радость Масляницу поджигают. Чучело вспыхивает, охваченное пламенем, искры с треском и свистом летят вверх, разрезая крошечную черноту, народ в веселом страхе отступает и огневое

веселье начинается. Парни прыгают через костер, девки кружат печальный хоровод, провожая зиму, все кругом пьют и веселятся - так завершается масляная неделя, предваряя собой наступление великого поста.

- Соня, поехали кататься! – крикнул Петя, - садись в сани! Прыгай! Эх, залетные!

Каким-то чудом Соне удалось заскочить в набиравший ход сани, где ее тут же обхватил Петя, запахивая в просторный, дышащий морозом и свежестью тулуп и крича что-то на ухо, чего она не могла разобрать, раскрасневшийся возница болезненно вытянул лошадь по всему крупу кнутом, отчего лошадь заржала и понеслась еще быстрее, еще неистовей, в воздух взлетели, звеня и повисая, слова-предупреждения – посторонись, зашибу! - и сани-розвальни, широкие и молодецкие, застучали по каменистой, жесткой мостовой, подпрыгивая на ухабах и лихо кренясь на поворотах, полетели по слипшемуся скрипучему снегу, в неизведанное и манящее, отчего перехватывало дух и сладко щемило в сердце.